



С. В. НИКОНЕНКО

Аналитическая философия. Основные концепции

<Фрагменты>

Аналитический метод в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна

Общеизвестно, что «Логико-философский трактат» — единственное сочинение Витгенштейна, опубликованное при его жизни — определяет взгляды «раннего» Витгенштейна. В настоящем параграфе мы рассмотрим методологические аспекты этого сочинения, в котором Витгенштейн впервые создал «логическую» форму аналитической философии.

Вопрос, поднимаемый в «Трактате», традиционен для многих философов после Канта: можно ли выделить сферу, в пределах которой нечто *может* определяться ясно и отчетливо? Согласно Витгенштейну, если и существует нечто определенное, то его следует называть «*факт*». Это понятие оказывается для Витгенштейна необходимой аксиомой, которую следует положить в основание логической системы: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей»¹ и которая сразу наводит на мысль о субъективно-идеалистической позиции Витгенштейна, свойственной позитивистам. Полагаем, что подобное предположение безосновательно. Допустим, что Витгенштейн — субъективный идеалист. Тогда необходимо признать, что «факт» есть идеальная конструкция в пределах сознания, которая первична по отношению к «вещи». Факты, по Витгенштейну, наоборот, существуют в мире, а не в сознании; вещи же выступают идеальной конструкцией фактов. Но, заявляя о своей реалистической позиции, Витгенштейн не признает важного основоположения реализма, согласно которому сознание способно воспринимать именно вещь, а не факты о вещи. Витгенштейн осознает, что задача философского анализа лежит не в анализе чувственного опыта, а в точном определении того, что может быть *сказано* с достоверностью. Утверждая, что

¹ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 1.1.

мир есть совокупность фактов, а не вещей, Витгенштейн полагает, что человек способен *сказать* нечто, но сказать *о вещи*. Здесь, по-видимому, на Витгенштейна оказали большое влияние Б. Рассел и Дж. Мур, которые считали, что мы ничего не можем сказать о фактах самих по себе, а только высказать наши убеждения по поводу фактов. Поэтому не правы те, кто видит в Витгенштейне идеалиста; Витгенштейн — реалист, признающий независимость фактов от сознания. Факты, таким образом, зависят от «объектов», а не от состояний сознания, следовательно, объекты онтологически первичны по отношению к высказываниям в структуре любого факта. «Атомарный факт есть соединение объектов»². Желаящие приписать Витгенштейна к идеалистам могут добавить: Витгенштейн имеет в виду соединение объектов в нашем уме. Но Витгенштейн нигде это не утверждает, наоборот, отмечает, что логический анализ устанавливает независимость объектов от нашего ума. Он пишет: «Если даны все объекты, то этим самым даны также и все *возможные* атомарные факты»³.

Данное высказывание, на наш взгляд, жестко детерминирует зависимость факта от объекта. Отказываясь от категории «вещь», Витгенштейн полагает, что под «объектом» можно подразумевать область реальности, независимую от сознания, о которой можно получить знание в виде «фактов». Реальность *относительно своего существования* не определяется в ходе анализа. «Только если есть объекты, может быть дана постоянная форма мира»⁴, — пишет философ. На основании вышеизложенной трактовки Витгенштейна можно сделать вывод, что он строит свою теорию логического анализа, опираясь на базисные суждения неореалистической эпистемологии Рассела и Мура, относясь тем не менее скептически к теории чувственных данных. Причем этот базис Витгенштейн берет как совокупность уже доказанных положений. Как точно отметил Дж. Пассмор, «Витгенштейна не интересовали примеры простых сущностей. Главное для него состоит в том, что *должны быть* простые сущности; а *что* они есть — вопрос второстепенный»⁵.

Витгенштейн предлагает ввести вместо категории «чувственное данное» категорию «образ», которую можно логически трактовать как синоним факта. Витгенштейна не интересует эпистемологическое положение, согласно которому не все об-

² Там же. 2.01.

³ Там же. 2.0124.

⁴ Там же. 2.026.

⁵ Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1998. С. 273.

разы могут соответствовать фактам. Важно то, что в любом предложении образ воплощает в себе *логическую форму* факта. Тем самым соответствие образа и факта только *логическое соответствие*. В действительности этого может и не быть, но это, для Витгенштейна, не предмет логического анализа. Здесь возникает серьезное расхождение Витгенштейна с его учителями-неореалистами: вопреки Расселу, Уайтхеду и Броуду Витгенштейн не признает существования понятий *a priori*. «Нет образа, истинного *a priori*»⁶, — утверждает он. С его точки зрения, образ (или чувственное данное) не может быть чем-то, кроме логического понятия, которое всегда зависит от понятия «факт». Возможен только один способ сочетания образа и факта — на основании логического анализа образа *самого по себе*, в отрыве от факта.

Из положения «Трактата»: «Образ есть модель действительности»⁷ вытекает и другая причинно-следственная связь. Витгенштейн полагает, что образы не просто соответствуют или не соответствуют объекту, но и «*замещают*» его. Это приводит его к позитивистскому отождествлению факта с образом действительности, а не с объектом. Налицо следующее: Витгенштейн считает, что сознание мыслит только в форме образов, а это — утверждение, ведущее к объективно-идеалистическому учению о существовании образов в мире. Когда Витгенштейн говорит, что «логический образ фактов есть мысль»⁸, он фактически «закрывает» возможность «выхода» мысли к бытию, лежащему за пределами сферы образов. Тем самым проявляется *главное противоречие* «Трактата», заключающееся, с одной стороны, в признании того, что истина — это *соответствие образа с объектом вне нашего сознания*, и, с другой, в утверждении возможности «*замещения*» объекта образом в познании. В первом отношении Витгенштейн следует неореализму, согласно которому чувственно воспринимаемый объект предшествует мыслимому объекту; во втором отношении Витгенштейн повторяет положение логического позитивизма Милля, согласно которому только логически правильная картина действительности может привести человека к знанию. Это противоречие внесло раскол, двойственность в понимание Витгенштейном реализма, роли философского анализа и языка. Изменив типичное для неореализма отношение репрезентации на отношение замещения, Витгенштейн сделал шаг в сторону идеализма.

⁶ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 2.225.

⁷ Там же. 2.12.

⁸ Там же. 3.

В самом деле, далее в «Трактате» Витгенштейн отходит от эпистемологических вопросов, будучи занят исключительно построением универсального языка и определением его границ. Переходя к языку, он вводит понятие «*имя*» как атомарную величину, позволяющую заместить в предложении объект. На основании определения возможностей и правил этого замещения можно достичь *точного символизма* в языке, когда каждый образ будет иметь простой и однозначный смысл.

Здесь Витгенштейн переходит в сферу логического анализа языка, постулируя, что «установление значений предложений будет относиться к символам, а не к их значениям»⁹. Логицизм Витгенштейна вступает в конфликт с точкой зрения Рассела, согласно которой необходимо точное описание значения термина. «Ошибка Рассела проявилась в том, что при разработке своих символических правил он должен был говорить о значении знаков»¹⁰, как считает Витгенштейн. Предложение просто изображает определенное положение вещей и составляется «для пробы», поэтому о фиксированном «значении» предложения нельзя говорить. Здесь уже можно угадать «позднего» Витгенштейна, полностью запретившего говорить о значении предложений вне их употребления в языке. Рассел не оставил без внимания этот выпад Витгенштейна, который был сделан не только против него лично, но и против неореализма в целом. Признавая вклад Витгенштейна в обоснование точного логического символизма, Рассел пишет: «Г-н Витгенштейн уверяет, что все действительно философское принадлежит тому, что может быть только показано, что является общим для факта и его логического образа. Из этого взгляда вытекает, что в философии ничего не может быть сказано правильно. Каждое философское предложение грамматически плохо, и лучшее, чего мы можем надеяться достичь посредством философских дискуссий, — это показать, что философская дискуссия есть ошибка»¹¹. Пока еще Рассел и Витгенштейн — союзники, и расхождение между ними — только в частном вопросе логики, но Рассел уже предостерегает от увлечения «грамматическими критериями», верно наметив направление развития философии Витгенштейна.

«Совокупность предложений есть язык»¹². Язык выступает универсальным средством для выражения *любого* смысла, даже

⁹ Там же. 3.317.

¹⁰ Там же. 3.331.

¹¹ Рассел Б. Введение к «Логико-философскому трактату» // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 15.

¹² Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 4.001.

если неизвестно значение каждого слова (что и происходит в разговорном языке). Для Витгенштейна язык «переодевает» мысли, причем это понимается им в смысле стремления к маскировке, к сокрытию смысла от логического анализа. Поэтому «молчаливые соглашения для понимания разговорного языка чрезмерно усложнены»¹³. Задача логического анализа заключается в *упрощении* языковых правил, что будет осуществлено, когда будет проведена демаркация между бессмысленным и осмысленным. Только тогда человек будет способен понять «логику языка».

Предложение должно соответствовать действительности, в этом заключается его истина, но *само по себе* оно не более чем «логические строительные» леса, посредством которых сознание проникает в мир объектов. В отличие от Рассела, который полагал введение факта в языковую систему, Витгенштейн смотрит на логику только как оперирование предложениями, состоящими из замещающих объекты знаков. «Моя основная мысль заключается в том, что “логические постоянные” ничего не представляют, что логика фактов не может быть представлена»¹⁴. Отделяя факты от предложений, он выражает общую для философии логического анализа тенденцию — *отделение логики от эпистемологии*, превращение эпистемологических вопросов в *следствие* логической теории. Однако эта тенденция не ведет к идеализму, так как Витгенштейн не разделяет позиции Венского кружка, согласно которой логический анализ и структуры языка *определяют* реальность.

Итак, для идеального языка требуются следующие условия.

1. В нем существует одно имя для каждого атомарного факта, и не может быть одного имени для двух атомарных фактов.

2. Имя — простой символ, т. е. никакая часть имени не является символом.

3. «Предложения могут быть описаны, но не названы»¹⁵, т. е. смысл предложения не может заключаться *только* в самом предложении. Вопреки идеалистам, содержание языка определяется содержанием мира; поэтому «назвать» (=формально определить понятие) недостаточно. Нельзя *понять* предложение без знания того, что оно обозначает, когда оно истинно.

4. «Язык не может изображать то, что само отражается в языке»¹⁶, поэтому построение «чистого» языка невозможно. Логиче-

¹³ Там же. 4.002.

¹⁴ Там же. 4.0312.

¹⁵ Там же. 3.144.

¹⁶ Там же. 4.121.

ский язык только по видимости самодостаточен, на самом деле он базируется на языке «фактов», будучи «логическим образом действительности».

5. Язык должен быть однозначным во всех своих частях, а это возможно только при соблюдении *правил*. Логика устанавливает правила употребления языка, понятные каждому субъекту.

6. Идеальный язык логики может описывать все частные языки, но ни один из частных языков не обладает той степенью всеобщности, которой обладает логический язык.

7. Все, что человек может знать, может быть высказано в языке.

Кант доказал, что сфера достоверного познания ограничивается сферой возможного опыта. Витгенштейн вторит ему, но для него сфера правильного употребления языка ограничивает сферу достоверного познания: «Границы моего языка означают границы моего мира»¹⁷. Это не значит, что язык ограничивает «мой мир» (тогда Витгенштейн был бы берклианцем); он хочет сказать, что мир, рассмотренный через призму логики, оказывается систематизированным, «заполненным». Только логически проясненный мир можно назвать «миром», а не «чем-то вне нас».

В конце концов, Витгенштейн приходит к эпистемологическому воззрению, называемому им «*солипсизмом*»: «Строго проведенный солипсизм совпадает с чистым реализмом. Я солипсизма сокращается до непротяженной точки, и остается соотношенная с ним реальность»¹⁸. Мы привыкли понимать под солипсизмом теорию, в центре которой стоит тезис Протагора «Человек есть мера всех вещей», когда доказывается, что вещи не существуют вне сознания. Витгенштейн же доказывает, что его солипсизм есть «чистый реализм»: «Я есть мой мир (микрокосм)»¹⁹, утверждая, что только познанное с логической необходимостью включено в этот мир. Солипсизм Витгенштейна отличается от «основанного на Я» солипсизма Беркли и стоит ближе к точке зрения Шопенгауэра о мире как представлении воли (тем более, что последний оказал большое влияние на Витгенштейна).

Сфера «реального» в системе раннего Витгенштейна состоит из трех элементов: 1) человеческое сознание, 2) «идеальное Я», понимаемое как «метафизический субъект», а не человек, 3) мир объектов.

Элементы (1) и (3) взаимодействуют в языке, носителем которого выступает «идеальное Я». Сознание способно воспринимать

¹⁷ Там же. 5.6.

¹⁸ Там же. 5.64.

¹⁹ Там же. 5.63.

мир только в виде фактов, или образов, замещающих объекты. Человеческое сознание постепенно «осваивает» сферу «идеального Я» благодаря процессу анализа и совершенствованию языка. В этой связи прогресс познания видится так: человеческое знание все более и более стремится к совпадению со знанием «идеального Я» и все более и более способно «замещать» мир объектов, который, в свою очередь, проявляется в «идеальном Я». Солипсизм Витгенштейна — это попытка установления того, что мы *можем знать о мире*, определение того, может ли мир стать *нашим* миром (логически, а не психологически). Метафизический субъект, или «идеальное Я», интерпретируется по аналогии с глазом. Поле зрения глаза — это все, что можно увидеть. Но сам глаз не входит в это поле зрения. Так и «идеальное Я», будучи субъектом идеального языка, не включается в сферу того, что можно сказать на этом языке. Иначе говоря, по Витгенштейну, мы *ничего* не можем сказать об «идеальном Я»; оно относится к сфере «невывраченного», или «*мистического*».

Витгенштейн доказывает, что все ценности лежат за пределами сферы «осмысленного»: «Смысл мира должен лежать вне его. <...> В нем нет никакой ценности»²⁰. В мире не существует таких сущностей, как религиозные, этические или эстетические ценности. Этика не может быть *высказана* определенным образом, точно так же, как нельзя высказать о своем религиозном опыте. Эти предметы лежат за пределами реальности, в области «мистического». Мистическое можно переживать, но его нельзя высказать, так как высказать можно только о факте, а такого факта, как «справедливость», нет: «Мистическое не то, *как* мир есть, но то, что он *есть*»²¹. То, *как* мир есть, мы постигаем через язык, логически анализируя факты. Но мы не можем знать что-либо за пределами языка; поэтому человеку не дано знать *бытие* мира. Все попытки проникнуть в область бытия оказываются «метафизическими» и должны быть отброшены. В утверждении онтологической недоказуемости метафизики Витгенштейн сходится с Хайдеггером, как верно отмечает К.-О. Апель. Однако Хайдеггер учит о возможности «стояния в просвете бытия»; для Витгенштейна же, наоборот, бытие недоступно вообще.

Витгенштейн, как и Кант, показывает «трансцендентальную историю» языка, определяя его генезис и отграничивая то, что может быть правильно высказано, от того, что не может быть правильно высказано. Формирование идеального языка в «Трак-

²⁰ Там же. 6.41.

²¹ Там же. 6.44.

тате» можно представить в виде следующей схемы (в которой стрелки означают логическое следование):

Мир → (факт → объект) → (образ → имя) →
→ (предложение → язык) → знание

Теперь, рассмотрев все контуры системы «Трактата», попытаемся детальнее определить не только *применение*, но и *назначение* логического анализа, которое Витгенштейн тесно связывает с вопросом о роли философского знания вообще: «Цель философии — логическое прояснение мыслей (курсив мой. — С. Н.). Философия — не теория, а деятельность»²². Отметим, что Витгенштейн деятельность не ассоциирует с практикой, как это делают прагматисты и марксисты. Речь идет исключительно о рассудочной деятельности, логическом анализе, направленном на прояснение понятий и предложений. По Витгенштейну, только «мыслимое» (т. е. анализируемое) может быть предметом анализа. Несмотря на то что проблема отделения «мыслимого» от «немыслимого», точного знания от метафизического знания позитивистская по своей сути, Витгенштейн отказывается интерпретировать ее в духе субъективного идеализма: «Смысл предложения есть его согласование или несогласование с возможностями существования или не существования атомарных фактов»²³. В причудливом сочетании заимствований из двух направлений в философии — логического позитивизма и неореализма — реалистические основы все же доминируют.

Подводя итог, можно взять кристально ясное утверждение Рассела: «Правильный метод обучения философии, говорит он (Витгенштейн. — С. Н.), заключается в том, чтобы строго придерживаться предложений наук, сформулированных со всей возможной ясностью и точностью, оставляя философские утверждения читателю и доказывая ему всякий раз, когда он их выскажет, что они бессмысленны. <...> Колебание вызывает то, что, в конце концов, г-н Витгенштейн сказал довольно много о том, что не может быть сказано, позволяя тем самым скептическому читателю предполагать, что существует какая-то лазейка через иерархию языков или какой-нибудь другой выход»²⁴. Данная «лазейка» заключается в том, что, во-первых, Витгенштейн допускает *возможность* мистического, только отграничив его, и, во-

²² Там же. 4.112.

²³ Там же. 4.2.

²⁴ Рассел Б. Введение к «Логико-философскому трактату» // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. С. 25.

вторых, в его самом загадочном постулате: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»²⁵. Попытаемся расшифровать этот постулат. Его следует, на наш взгляд, интерпретировать следующим образом.

1. «О чем невозможно говорить». Имеется в виду нечто, что не может быть предметом языка. Говорить можно только о фактах. Следовательно, то, о чем невозможно говорить, находится за пределами сферы фактов, т. е. реальности.

2. «Следует молчать». Мы обладаем «немотой» и неспособностью высказать о «мистическом» ничего, кроме *не* имеющего отношения к мистическому.

3. То, что находится за пределами реальности, т. е. мира фактов, *не может быть предметом языка и логического анализа*.

Однако впоследствии для Витгенштейна стало ясно, что он не до конца исследовал этот вопрос, и что «молчанием» часто можно сказать гораздо больше, чем говорением. В этой связи Витгенштейн пишет своему другу Л. фон Фикеру: «Цель моей книги (“Трактата”. — С. Н.) — этическая. <...> Я хотел написать следующее. Моя работа состоит из двух частей: первая часть представлена здесь, и вторая — все то, чего я *не* написал. Самое важное — именно эта вторая часть. Моя книга как бы ограничивает сферу этического изнутри. Я убежден, что это *единственный строгий* способ ограничения. Короче говоря, я считаю, что *многие люди* сегодня лишь строят предположения. Мне же в книге почти все удалось поставить на свои места, просто храня молчание об этом»²⁶. Неслучайно именно то, о чем было умолчано в «Трактате», и стало содержанием философии «позднего» Витгенштейна. <...>

Анализ языка в философии «позднего» Витгенштейна

О соотношении взглядов «раннего» и «позднего» Витгенштейна написано много. В ходе тщательного, почти детективного расследования одни критики приходят к мнению, что «поздний» Витгенштейн полностью порвал с «ранней» философией «Логико-философского трактата»; другие, наоборот, считают, что Витгенштейн — один и тот же философ, сменивший две концепции. Чтобы раз и навсегда оставить этот вопрос, отметим, что мы считаем справедливой вторую точку зрения. Витгенштейна всегда волновали логические проблемы, связанные с языком;

²⁵ *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. 7.

²⁶ *Wittgenstein L.* Briefe an Ludwig Von Ficker. Salzburg, 1969. S. 35.

только если «ранний» Витгенштейн занимался *логическим* языком, то в «поздней» философии предметом стал *обыденный* язык. Несмотря на переоценку ценностей, аналитический метод как универсальный метод «описания» Витгенштейн понимает одинаково как в «ранней», так и в «поздней» философии. Если ранний Витгенштейн ищет «логику языка», то поздний Витгенштейн ищет «логику в языке».

Если судить по письмам самого Витгенштейна, он не полностью порывает с методологической частью своей «ранней» философии. Обоснование реализма, критериев верификации и достоверности остаются главными задачами и в «поздней» философии. Витгенштейн считает, что, придя к новой философской позиции, он только углубил свои доказательства, решив противоречия «Трактата». В этой связи интересно мнение немецкого философа К.-О. Апеля: «Тем не менее различие в подходе в сравнении с “Трактатом” не является столь значительным, как можно было бы сперва предположить. *Метод мышления Витгенштейна остается методом аналитической философии языка*»²⁷. Таким образом, можно говорить только о смене предмета и методики философского анализа, но не о коренной переоценке всей методологии. Неслучайно, некоторые «радикальные» последователи Витгенштейна в лице Г. Райла и Дж. Уиздома упрекали его за то, что он так и не избавился от своего «логического» прошлого.

В «поздней», как и в «ранней», философии Витгенштейн занимает позицию реализма. В «Философских исследованиях», как и в «Трактате», он полагает, что логика, несмотря на наличие законов, качественно отличных от законов природы, зависит от фактов. Логика и язык оперируют с высказываниями о ментальных и физических событиях, в большинстве своем независимых от сознания. Неслучайно Витгенштейн столь внимательно относится к основной неореалистической проблеме — проблеме *доказательства* существования внешнего мира: «Коли ты знаешь, что вот это рука, то это потянет за собой и все прочее»²⁸. Он пытается доказать, что вера Мура, когда он показывал на лекции свою левую руку и говорил: «Вот незыблемое доказательство существования предметов вне нашего сознания», — не просто вера и непосредственное убеждение. Оперируя с этой проблемой, Витгенштейн не ставит под сомнение существование левой руки вне сознания; он пытается установить процедуру приписывания

²⁷ Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 143.

²⁸ Витгенштейн Л. О достоверности. 1 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

предиката «достоверное» этому положению. Вопрос Витгенштейна по поводу главного положения реализма выглядит так: каким образом мы приписываем предикат «достоверное» предложениям типа «Существует моя левая рука»?

Витгенштейн приходит к выводу, что можно дать только *описательный* ответ на этот вопрос. Можно только описать, каким образом мы пришли к убеждению в существовании руки, а не *объяснить* это: «В какой-то мере необходимо перейти от объяснения к простому описанию»²⁹. Например, истинно ли, что Наполеон был императором Франции? Да. Но почему? Потому что это можно *узнать*, полагает Витгенштейн, а, узнав, прийти к этому мнению. Необходимо точно описать, каким образом мы приходим к знанию. Как отметил еще Платон, человеческий разум не в состоянии познать все, но мы, тем не менее, знаем, что дверь, которую можно отворять, закреплена на петлях. Витгенштейн не претендует доказать, что существует достаточное основание для признания истинности этого знания; важно то, что «*моя жизнь* держится на том, что я многое принимаю непроизвольно»³⁰. Я знаю *это* и могу ответить, откуда я это знаю, но на вопрос о природе знания самого по себе мы ответить не можем. Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю». Перефразируя его, Витгенштейн говорит: «Я знаю, потому что я это знаю». Здесь теория бессмысленна; речь идет, скорее, о практическом, «непроизвольном» знании. Поэтому Витгенштейн пишет: «Но если я говорю: “У меня две руки”, — на что я могу сослаться, чтобы засвидетельствовать достоверность этого? Самое большее — указать на обычность обстоятельств»³¹. Это ни в коем случае не ведет к отождествлению «непосредственного» и случайного. «Непосредственное» знание закономерно, и оно коренится в более простом по отношению к логическому рассудку порядке *обыденного языка*. Истины типа «У меня есть две руки» или «Дверь отворяется на петлях» усваиваются в процессе овладения языком. Им нельзя дать формально-логического обоснования, так как на языке логики мы будем говорить о восприятии физического объекта и анализировать высказывания о нем. По Витгенштейну, до того, как заниматься логическим анализом, мы *уже должны что-то знать*. Логический анализ не может начаться с аксиом; он стартует, когда уже существует мировоззрение, представленное в обыденном языке. Витгенштейн тем самым доказывает, что

²⁹ Там же. 189.

³⁰ Там же. 344.

³¹ Там же. 445.

существует обыденный язык, «более примитивный», чем язык логики. Можно сказать, что человек будет прекрасно знать о существовании двух рук, даже если он не владеет языком логики. Но он вряд ли будет знать это, по крайней мере, не сможет это высказать, если он не будет владеть обыденным языком.

Философы логического анализа считают, что обыденный язык может быть сведен к языку логики как к его сущностной основе. Они также полагают, что обыденный язык не подходит для науки, а подходит только для повседневного общения. Они также утверждают и то, что в идеальном языке логики или специальном языке науки все слова обладают *значением*, т. е. описывают факты строго определенным способом. Все эти положения поздний Витгенштейн отвергает. Для него описание обыденного языка и есть описание реального человека и реального мировоззрения. Отвергая все попытки формализации, Витгенштейн полагает, что создание идеального языка убьет «исконный» обыденный язык. Например, Витгенштейн не принял модный в то время эсперанто. Он пишет: «Эсперанто. Чувство отвращения, когда мы признаем изобретенные слова с изобретенными же флексиями. Слово холодное, лишённое ассоциаций, и тем не менее оно прикидывается языком. Будь это система письменных знаков, она не вызвала бы такого отвращения»³². Это утверждение, хотя и в более умеренной форме, Витгенштейн распространяет на искусственные языки, например, метаязык Карнапа. Неслучайно в этом смысле Рассел был одним из самых последовательных противников позднего Витгенштейна. Он признавал, что обыденный язык необходим, а в случае поэзии, например, и незаменим, но видел в нем форму выражения «донаучного» мышления. Для Рассела невозможно «простое описание», невозможен язык без фактов. Витгенштейн же полагает, что мы видим мир и интерпретируем факты *сквозь призму языка*, что язык учит нас видеть вещи определенным способом, который усваивается и затем «непроизвольно» употребляется в различных ситуациях. Когда Витгенштейн спорил с Муром о том, что такое дерево в саду Кембриджского университета, они пришли к диаметрально противоположным выводам. Назовем эти выводы.

Мур: Я вижу объект, который совершенно точно существует вне меня. На моем языке его следует назвать «дерево». Его можно было бы назвать и по-другому. От этого ведь дерево не перестало бы быть тем же самым объектом.

³² Витгенштейн Л. Культура и ценность. [294] // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Витгенштейн: Прежде всего я вижу дерево, т. е. этот объект воспринимается мною как нечто, что я научился называть словом «дерево». Если я скажу про дерево: «Это футбольный мяч», меня не поймут. И причина тут не в том, что объект под названием «дерево» не похож на объект под названием «футбольный мяч». Дело в том, что в нашем языке слово «дерево» употребляется для обозначения одного объекта, а слова «футбольный мяч» — для другого объекта. Хотя не совсем понятно, имеем ли мы тут в виду объект.

Итак, необходимо конкретизировать проблему: Витгенштейн не отказывается от поиска значения слова. Он спорит о дереве с Муром и отказывается от теории дескрипций Рассела и положений своего «Трактата», согласно которым значение слова есть точное описание факта. Значение слова для позднего Витгенштейна определяется диаметрально противоположно — как *способ употребления слова в языке*: «Предложение обретает свой смысл только в употреблении»³³. Именно таким образом слово существует в языке. При этом Витгенштейн спешит защититься от возможных обвинений в «психологизме», ведущем к субъективному идеализму. Значение слова для Витгенштейна не является результатом «переживания», оно устанавливается объективно. Например, употребляя слово «свеча», мы связываем его с такими-то и такими-то объектами. Но это именно *установленная* объективность, т. е. способ видения мира, когда объект рассматривается сквозь призму слова. Меняются люди, эпохи — и одни слова исчезают из языка, входят новые, старые меняют свои значения. Этого нет в «мертворожденном» эсперанто. Даже философский словарь, мало подверженный влиянию времени, не избегает подобной участи. Историки философии, например, выявляют различные употребления слова «метафизика» у Аристотеля, Гегеля и Хайдеггера. Так, по Витгенштейну, язык «живет». Таким образом, Витгенштейн полагает ошибочной теорию соответствия, лежащую в основе логического анализа языка: «Ошибка, которую мы совершаем, может быть выражена так: мы ищем употребления знака, но мы ищем его, как если бы оно было объектом, *существующим* со знаком»³⁴. Он не утверждает, что слово не связано с объектом; он доказывает, что многие слова в языке не имеют строгого значения, и *не могут иметь его*, если под значением понимать «отнесенность к объекту определенным образом».

³³ *Витгенштейн Л.* О достоверности. 10 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

³⁴ *Витгенштейн Л.* Голубая книга. М., 1999. С. 14.

Парадоксы, которые во множестве отметил Витгенштейн, сводятся к обоснованию следующего тезиса: показать, что существуют различные способы употребления одной и той же языковой единицы. Наиболее знаменитый пример, приводимый Витгенштейном, — это «уткозаяц». В «Философских исследованиях» Витгенштейн заимствует у психолога Ястрова фигуру, которая воспринимается как голова утки, но, если положить картинку набор, оказывается головой зайца. При этом возможны три ситуации: 1) Человек видит только утку (так как не догадывается посмотреть иначе); 2) Человек видит только зайца (так как в Тарабарском царстве люди сначала кладут картинки набор, а затем разглядывают); 3) Человек видит и утку, и зайца, так как умеет смотреть *иначе*. Нечто подобное можно увидеть и в известной сказке А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». Когда Маленький принц просил автора нарисовать барашка, автор нарисовал ему двух барашков, но они не удовлетворили ребенка. Тогда он нарисовал ящик и сказал: «Вот там твой барашек». Именно этот барашек, которого *увидел* в ящике Маленький принц, привел его в восторг.

Согласно Витгенштейну, употреблению слов и языка в целом человек обучается практическим путем; он учится не только отдельным словам и выражениям, но и «контексту», т. е. совокупности слов и выражений: «Начиная *верить* чему-то, мы верим не единичному предложению, а целой системе предложений»³⁵. Важно не только то, что люди говорят, но и то, *как* они это говорят, т. е. языковое поведение. Например, ребенок ушибся и кричит. Взрослые, утешая его, учат соответствующим восклицаниям и предложениям по этому поводу; они учат его «болевому поведению». Неслучайно Витгенштейн много размышлял по поводу проблем, поставленных в бихевиоризме (хотя в целом был враждебен по отношению к этому учению). Например, если мы слышим крики и жалобы ребенка, то было бы нелепо анализировать эту ситуацию в терминах ментальных или физических состояний, или достать толстую энциклопедию, читая (воображаемую) статью «Крик». В этом случае, по Витгенштейну, *логично* сказать: «Ребенок кричит от боли» и затем анализировать оправданность этого предположения. Ведь научив ребенка болевому поведению, взрослые неизбежно учат его симулировать боль, т. е. не связывать «болевое поведение» с реальной болью.

По Витгенштейну, человек, *владеющий* таким языком, может представить и понять, каким образом человек что-то знает.

³⁵ Витгенштейн Л. О достоверности. 141 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Для этого и существуют процедуры обучения, разъяснения, информирования и т. п. Этот вид знания Витгенштейн называет «знанием-как», противопоставляя его «знанию-что». Например, образованные люди XIV в. полагали, что система Птолемея истинна, и знали, *как* ее можно обосновать. Витгенштейн предлагает пересмотреть сциентистскую точку зрения, согласно которой вера людей XIV в. должна быть отброшена. Он предлагает взглянуть на систему Птолемея, как на теорию, которая может быть не менее *убедительна*, чем другие теории. Например, если бы кто-то в XIV в. предвосхитил открытие Коперника, то он не знал бы, *как* обосновать эту теорию, чтобы ее могли понять. Когда моряки Тасмана увидели в Австралии черных лебедей и рассказывали об этом, им никто не верил. Но им без труда поверили бы, когда они сказали: «Мы были так близко к преисподней, что даже лебеди, пролетая там, обугливаются и становятся черными». Согласно Витгенштейну, человек из опыта употребления языковых конвенций выносит безоговорочную веру в некоторые вещи и отношения и поступает в соответствии с ней. Но, оговаривается Витгенштейн, «Я хочу сказать не то, что человек *должен* поступать именно так, а только то, что он так поступает»³⁶.

Витгенштейн вводит понятие «*указательное обучение*» как главный способ овладения языковой игрой. Мастер командует подмастерью: «Плита!», и подмастерье должен принести плиту. Если он принес рубанок, то он неправильно усвоил значение слова «плита». По Витгенштейну, при изменении способу указательного обучения и тренировки, мы неизбежно приходим к иному пониманию слов. Эта ситуация присутствует в «Укрощении строптивой» Шекспира. Петруччо и Катарина едут днем в город. «Светит солнце ярко», — говорит Катарина. «Нет, луна!», — говорит взбалмошный Петруччо. «Да, луна. Как вам будет угодно», — отвечает «укрощенная» Катарина. По Витгенштейну, она выступает идеальной ученицей.

При этом нет необходимости *досконально* обучать употреблению того или иного слова. Мы понимаем слова в зависимости от практической необходимости, уровня владения языком и умственных способностей. Витгенштейн пишет: «Так, когда мне говорят слово “куб”, я знаю, что оно означает. Но разве при этом, когда я *понимаю* слово, в моем сознании возникает ли его *употребление* во всем объеме?»³⁷. Витгенштейн

³⁶ Там же. 284.

³⁷ *Витгенштейн Л.* Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 134.

хочет показать, что употребление слова не изучается путем соотнесения этого слова со всеми возможными фактами. Ребенок в этой связи употребляет слово «кубик», еще не зная, что куб — это геометрическая фигура, являющаяся параллелепипедом со всеми равными сторонами. Анализируя язык ребенка и язык математика, приходится признать, что они *по-разному* употребляют слово «куб». Точно так же блондинка из анекдотов, беря кубик льда, чтобы положить его в стакан с соком, с успехом забыла как о кубиках для игр, так и о параллелепипедах. Или, указывая на себя рукой, человек употребляет этот жест для обозначения своего «Я». Но можно ли отождествить «указание на себя пальцем» и «Я»? Скорее, указание на себя пальцем выступает одним из языковых «инструментов» для обозначения Я в разговоре. Таким образом, делает вывод Витгенштейн, любое понимание и понятное поведение прямо зависят от того, понимаю ли Я и окружающие способ употребления слов и предложений этого языка.

Как уже отмечалось в начале главы, существует мнение, что Мур приходит к философии обыденного языка. Проведя детальное исследование философии Мура, мы доказали неадекватность этой точки зрения. Мур просто использовал фразы повседневного языка в качестве примеров для демонстрации процедуры анализа. Мур также полагал, что язык зависит от «здорового смысла». Сосредоточившись на решении эпистемологических вопросов, Мур отводил обыденному языку подсобную роль, никогда не делая его *самостоятельным* предметом философского анализа. Это раздражало Витгенштейна в ходе многочисленных диспутов с Муром. Витгенштейн считал, что Мур совершенно глух к пониманию подлинной природы языка. Тем не менее многие критики видят в Муре учителя Витгенштейна. По Н. Мальколму, Мур «будит чувство языка»; по А. Ф. Грязнову, существует «майевтика» Мура, выражающаяся в «лингвистическом анализе» предложений; по А. Ф. Бегиашвили, Мур понимал анализ, как «перевод». Разоблачая это мифическое представление о Муре и об отношениях Мура и Витгенштейна, отметим, что Мур никогда не имел в виду под «языком» обыденный язык, а имел в виду язык логики и чувственных данных. В разгар безраздельного господства лингвистической философии в Англии, Айер, на наш взгляд, мужественно разоблачил «переописания» Витгенштейна и лингвистических философов: «Мур не задумывал философию как исследование языка. <...> Тем не менее сведение философии к исследованию языка было бы рациональным следствием из позиции, которую

он занимал»³⁸. Вернувшись несколько ниже к дружбе-вражде Мура и Витгенштейна, мы попытаемся доказать справедливость суждения Айера.

Любой упорядоченный и осмысленный язык определяется Витгенштейном как *языковая игра*. Вводя термин «игра», Витгенштейн хотел закрепить практический характер языка как системы слов и выражений, которые непосредственно употребляются. Для возникновения языковой игры, несомненно, должны существовать некоторые трансцендентальные условия, которые и выводит Витгенштейн:

1) должны существовать люди, понимающие и употребляющие этот язык, т. е. возникает *языковое сообщество*;

2) язык должен быть понятным относительно *употребления* по возможности всех слов и выражений; эти слова и выражения подчиняются определенным *правилам*, которые должны соблюдаться всеми участниками игры;

3) должен существовать механизм *защиты от «нарушителей»* этих правил; в отношении нарушителя могут применяться санкции, вплоть до исключения из языкового сообщества, например, Лютера и Толстого отлучили от церкви за вольные, не согласующиеся с «официальной» позицией, толкования положений христианства и запретили печатать их духовные тексты.

Эти положения, тем не менее, не регламентируют ни количество носителей языковой игры, ни порядок введения правил игры, ни способы защиты от желающих нарушить эти правила, ни продолжительность существования определенной языковой игры, ни, наконец, количество языковых игр. Совершенно ясно, что Витгенштейн допускает *бесконечное множество языковых игр*. В основании всех языковых игр лежит «предельная» языковая игра, которую не может воплотить в себе ни одна конкретная языковая игра — *обыденный язык*. Основание обыденного языка не может лежать в другом языке; обыденный язык пребывает, как жизнь или благо. М. Хайдеггер неоднократно писал, что мы «пре-бываем» при языке; язык говорит. Витгенштейн, тоже считая язык главным человеческим продуктом, полагает, что говорим все же *мы*, т. е. правила языковой игры созданы человеком (даже если люди не осознают этого): «Языковая игра есть, так сказать, нечто непредсказуемое. Я имею в виду: она не обоснована. Она неразумна (или сверхразумна). Она пребывает — как наша жизнь»³⁹.

³⁸ Ayer A. J. The Concept of a Person. London, 1963. P. 4.

³⁹ Витгенштейн Л. О достоверности. 559 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

Философия не посягает на установление правил обыденного языка, оставляя все, как есть; она только описывает, а не объясняет. «Все есть то, что есть», — сказал С. Батлер; «добро есть добро», — это слова Мура в «Principia Ethica». Язык таков, каков он есть, как язык, — так определяет суть своего «лингвистического реализма» Витгенштейн. Согласно Витгенштейну, могут устареть или быть преданными забвению любые конкретные языки, но это не затронет способности человека «говорить на языке» и видеть в нем форму своей жизни. Это надо видеть, зря в корень, поскольку на поверхности картина языка, по Витгенштейну, «представляет собой расплывчатую массу языка, его родной язык, окруженный дискретными или более или менее ясно выделенными языковыми играми и техническими языками»⁴⁰.

Анализируя или просто употребляя различные языки, мы можем видеть не только их различия, но и сходства. Так, язык дачника может содержать слова и предложения, свойственные языку строителя или ботаника; язык социолога — термины языка метафизики и этнографии; язык человека, описывающего свой сон, — термины психоанализа и оккультизма. Используя спортивный термин, слово может быть «заиграно» за различные языки, точно так же, как футболист может поиграть в различных командах / Альтернативные системы языкового выражения, соприкасающиеся в определенных точках, Витгенштейн объясняет при помощи теории «*семейных сходств*»: «Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их “семейными сходствами”, ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д., и т. п. — И я скажу, что “игры” образуют семью»⁴¹. Например, мы имеем квадрат, разбитый на 9 клеток, окрашенных в четыре цвета: красный, черный, зеленый и белый. При этом квадрат можно обозначить кодом: ККЧЗЗЗКББ (заглавные буквы — начальные буквы упомянутых цветов). Является ли это «обозначением»? По Витгенштейну, это допустимое обозначение: «Можно сказать: именованнием вещи еще *ничего* не сделано. Вне игры она не *имеет* имени. Это подразумевал Фреге, говоря: слово приобретает значение только в составе предложения»⁴². Вводя код этого квадрата в «игру», мы отличаем его от других возможных кодов (например, КЧЗЗБККБЗ и др.). Но между всеми возможными кодами существует сходство — все

⁴⁰ Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999. С. 12.

⁴¹ Витгенштейн Л. Философские работы. С. 111.

⁴² Там же. С. 103.

они «отпрыски» одного «предка». Как у членов одного рода, у них могут быть схожие черты: рост, черты лица, цвет глаз, характер; но при этом не может быть двух совершенно схожих игр. Задача лингвистического анализа, по Витгенштейну, — установить общий «язык-предок» и выявить связи с этим языком. Так, например, почти все языки философских школ имеют «семейное сходство» с языком философии Платона и его школы. Но, можно спросить Витгенштейна: существует ли предок *всех* языков? На этот вопрос Витгенштейн нигде не дает прямого ответа, вероятно, считая его «метафизическим», недоступным анализу.

Схематические картины одного и того же содержания, но поданные по-разному (как буквенные коды в примере с разбитым на клетки квадратом), по Витгенштейну, и есть различные игры: «Представим себе человека, который описывает шахматную игру, ничего не говоря о том, что существуют шахматные фигуры, ни о том, каким образом они ходят. <...> С другой стороны, мы можем сказать, что он описал более простую игру»⁴³. В данном положении постулируется возможность изменения объекта референции при введении иного описания правил игры. С шахматами трудно привести примеры, поэтому обратимся к шашкам. Те же шашки на той же самой доске могут быть использованы для игры по другим правилам. При этом изменение правил может быть либо частичным, либо практически полным. Отметим эти случаи.

1. *Случай частичного изменения правил игры.* Это происходит в игре под названием «поддавки». По всем правилам игры в шашки нужно не взять, а, наоборот, как можно скорее отдать все шашки. Частичное изменение правил игры тем самым вносится на ходу.

2. *Случай практически полного изменения правил игры.* Это происходит в игре под названием «Чапаев». Никаких правил шашек тут нет (так же можно было бы взять не клетчатую доску и примерно такие же кусочки дерева). Задача здесь: выбить щелчками по своим шашкам все шашки соперника за пределы доски. Для убедительности приведем другой пример. В середине XIX в. в Англии играли в мяч руками и ногами. Но затем появились любители играть только ногами. Образовав первую в мире ассоциацию футболистов, они запретили касаться мяча рукой, т. е. внесли такое изменение в правила, которое несовместимо с правилами прежней игры.

Любое слово, выражение и правило «входит» в *целостную систему* языковой игры, оказывая на нее преобразующее воз-

⁴³ Витгенштейн Л. Коричневая книга. С. 5.

действие. Полагая, что человек «связан» языковой игрой, Витгенштейн выступает против логического атомизма, согласно которому *отдельное* слово или высказывание может быть рассмотрено на предмет соответствия факту и, в случае необходимости, заменено другим без учета контекста: «Опыт научил нас не изолированным предложениям, но множеству взаимосвязанных предложений»⁴⁴. В этой связи он выступил сторонником *холизма* в понимании структуры языка, приближаясь в определенных чертах к идеям теории логической связанности в ее реалистическом варианте, свойственном Уайтхеду. Как и Уайтхед, Витгенштейн считал язык и знание целостной системой; причем изменение одного положения или части системы должно повлечь за собой изменение всей системы в целом. Это и происходит при изменении правил и введении в язык новых слов. К.-О. Апель прав, полагая, что «вместе с обучением *одному* языку, и вместе с успешной социализацией в *одной* связанной с употреблением языка “формой жизни”, происходит обучение *единственной* языковой игре»⁴⁵, т. е. языки связаны в единую систему по тому же принципу, что и слова внутри отдельного языка.

Постулируя наличие правил в любой языковой игре, Витгенштейн не утверждает того, что в ходе анализа языковой игры их можно точно выявить или определить. Он приводит пример с дорожным указателем. Это — пример правила, которое иногда оставляет место сомнению, а иногда нет. Например, указатель верно определяет направление (допустим, на Санкт-Петербург), но он не должен гарантировать, что это кратчайший путь из этой точки до Санкт-Петербурга и что всегда надо двигаться в этом направлении. В этой связи Витгенштейн выводит парадокс, который в современной аналитической философии получил наименование «*скептицизма относительно правила*» (rule-scepticism): «Наш парадокс был таким: ни один образ действий не определяется каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни противоречия, ни соответствия»⁴⁶. Витгенштейн дает два способа избежать этого парадокса. Во-первых, «следование правилу» — это практика, а не ментальное действие. Вы-

⁴⁴ Витгенштейн Л. О достоверности. 274 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

⁴⁵ Апель К.-О. Трансформация философии. С. 253.

⁴⁶ Витгенштейн Л. Философские работы. ЧС. 163.

езжая на шоссе и увидев указатель «С.-Петербург» со стрелкой направо, мы должны *поехать* направо, если, конечно, хотим приехать в Санкт-Петербург. Поэтому правило здесь устанавливает определенный порядок действий. Во-вторых, «следование правилу» — это социальный феномен, поэтому мы не можем его *произвольно* изменить. Допустим, злоумышленник повернет указатель в неверное направление. Но при этом он вряд ли ожидает, что мы доберемся до Санкт-Петербурга, следуя его совету.

Если правило *задано* определенным способом, мы всегда будем «повиноваться» ему или «нарушать» его; и это мы не в силах изменить. Витгенштейн вообще считает, что на практике только специальные языки инструкций, катехизисов, логических и математических систем содержат в себе «прописанные» правила. В большинстве языковых игр правила не столь прозрачны; их просто не требуется выводить. В этой связи Витгенштейн пишет: «Но ведь тогда нельзя описать, как мы убеждаемся в надежности того или иного вычисления? Почему же! Вот только никакое правило тут не обнаруживается. — Но самое важное вот что: правило и не нужно. Все при нас. Считаем же мы на самом деле по определенному правилу, и этого достаточно»⁴⁷. Таким образом, Витгенштейн выступает против любого *логицизма* в отношении правил языковой игры, когда правила понимаются как тщательно отрефлексированные «условия возможности» этой языковой игры. Мы следуем правилам практически, разделяя со всеми носителями языка ответственность как за успехи, так и за неудачи.

Отрекшись от логического языка «Трактата», Витгенштейн отказывается от многих терминов своей прежней философии логического анализа, в том числе и от понятия «верификация», ключевого для этой философии. Но, несмотря на то что Витгенштейн практически не употребляет это понятие в поздней философии, проблема выработки новых *верификационных критериев* по-прежнему актуальна. Все ключевые вопросы верификационной теории Витгенштейн решает в «поздней» философии, прилагая их к анализу обыденного языка: «Может ли предложение в конечном счете оказаться ложным, зависит от того, что признать для него определяющим»⁴⁸. На первый взгляд, Витгенштейн расписывается в субъективно-идеалистической позиции, но это не так: разум определяет истинность суждений на основании того,

⁴⁷ Витгенштейн Л. О достоверности. 46 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

⁴⁸ Там же. 5.

что дано в опыте. Витгенштейн пишет: «Утверждение “Я знаю, что тут моя рука” может вызвать вопрос “Как ты это знаешь?”, и ответ на него предполагает, что *это* можно узнать *таким* образом. Так, вместо “Я знаю, что это рука”, можно было бы сказать: “Это моя рука”, а затем добавить, *как* это узнают»⁴⁹. Витгенштейн не ставит под сомнение *существование* руки, о которой говорят. Но это — непосредственное суждение, само по себе не ведущее к определению того, почему мы так полагаем.

Путь, который пытается нащупать Витгенштейн, отличается от пути Рассела и Айера, которые сконцентрировали внимание на проблеме верификации высказываний о фактах. Он полагает, что поиск и определение способа эмпирического познания можно достичь, анализируя те ситуации обыденного языка, в которых мы можем сказать: «Мы все их знаем». Для Витгенштейна этот вопрос имеет огромное значение: ведь кто не может найти нечто *несомненное*, не может быть уверен в смысле своих слов. Следовательно, несомненное знание — это знание, которому человек доверяет, которому доверяют все люди, но не на основании только «соглашения», а на основании того, что «дела обстоят так». Например, все люди согласны, что отправленное письмо может дойти до адресата и ожидают этого. Люди в этом уверены потому, что почта обеспечит доставку письма, а не потому, что «все люди» договорились так считать. Несмотря на то, что дела обстоят так, как они есть (это Витгенштейн обосновал еще в «Трактате»), возможны различные *интерпретации*, описания этого положения. Витгенштейн, тем не менее, приходит к «мягкой» форме реализма: события в мире не зависят ни от человека, ни от абсолютного сознания, но достижение их однозначной интерпретации невозможно.

В этой связи, следует отметить антагонизм Витгенштейна с логикой Рассела, сложившийся во многом под влиянием теории здравого смысла Мура и логических идей Ф. Рамзея. Витгенштейн ставит вопрос о критериях достаточности проверки эмпирического положения и фактически о пределах применения анализа. «Неужели проверка не имеет конца?»⁵⁰, — спрашивает он. И, действительно, теоретики логического анализа постулируют невозможность «конца» верификации, рассматривая все положения как наиболее удачные гипотезы. Витгенштейн же полагает, что обоснование имеет конец. Проблема создания верификационной теории, позволяющей определить, соответствует ли

⁴⁹ Там же. 40.

⁵⁰ Там же. 164.

суждение фактам или нет, интересует Витгенштейна в отношении определения отношения «соответствие». У Витгенштейна возникает сомнение в *достаточности* логических критериев соответствия. Когда утверждается: «Кошки не растут на деревьях», достаточно ли показать, что это высказывание *просто* не соответствует наблюдаемым фактам? Для Витгенштейна этого недостаточно, поскольку не объясняется, почему человек уверен в этом (речь идет, разумеется, не о психологическом исследовании феноменов уверенности, убеждения, легковёрности и т. д.): «Я хочу сказать: дело обстоит не так, что человек знает истину об определенных вещах с полной уверенностью. Полная же уверенность характеризует лишь его точку зрения⁵¹.

Результат «уверенности» далеко не всегда совпадает с данными логического анализа. Допустим, мы просим: «Принесите мне швабру. Она там, в углу». Если детально проанализировать суждение, то получится следующее: в этой части пространства комнаты находится объект в виде щетки, в которую воткнута палка. Если мы спросим: «Принесите мне палку и щетку, в которую она воткнута», то можем получить в ответ: «Ты просишь швабру?». Этот пример показывает, что в повседневной ситуации данные анализа, несмотря на точность, *избыточны*. В этой ситуации было бы достаточно положиться на то, что собеседник, вероятно, знает, что такое швабра и как это слово употребляется в языке. Таким образом, в данной ситуации «*более проанализированная*» форма («палка, в которую воткнута щетка») оказывается менее совершенной, чем «менее проанализированная» форма («швабра»). Вывод Витгенштейна состоит в том, что во многих ситуациях вообще не надо анализировать *далее определенного предела*. Не существует бесконечной верификации и не существует закона, согласно которому «более проанализированная форма» более фундаментальна, чем менее проанализированная форма. Возникает иллюзия, что логический язык более совершенен, точен и фундаментален, чем обыденный. Для Витгенштейна это не так. Необходимо избавиться от маниакальной страсти логики делать очевидные вещи яснее, чем они есть на самом деле.

Витгенштейн отвергает также идею логического анализа, согласно которой существует единый критерий *точности* высказывания, устанавливаемый логикой. Например, мы говорим: «Мои часы идут точно», «Я точно прихожу на лекцию». При этом подобная точность вряд ли удовлетворит физика, конструирую-

⁵¹ Там же. 404.

щего атомные часы. Тем самым слово «точность» определяется по-разному в различных языковых играх. Поэтому «точность» в логике — это понятие, имеющее значение только в языке логики, а не как некий эталон. Витгенштейн полагает, что для повседневных нужд «невыносимо» требование логического аналитика бесконечно уточнять наши высказывания. Однако «психологические» оценки Витгенштейна нас здесь не интересуют. Интересно то, что, по Витгенштейну, логический идеал точности не распространяется на *все* языковые игры. Однако, мнение Витгенштейна, что в каких-то не-логических формах языка присутствует «точность», на наш взгляд, ложно. Мы полагаем, что в обыденном языке все выражения, содержащие слово «точный», неперебиваемые посредством анализа в синонимичные слова типа «аккуратный», «ровный» (счет), «пунктуальный» и т. д., представляют собой плод экспансии языка математики и логики. Например, когда мы говорим: «Восемь поделить на четыре будет ровно два» или «За этот вечер сгорело точь-в-точь две свечи», то здесь имеется в виду количественная точность, редуцируемая к математическим понятиям. Точно так же, когда мы говорим: «Высказывание “Я живу в Санкт-Петербурге” точнее, чем высказывание “Я живу в России”», речь идет о большей *логической* точности первого высказывания, даже если говорящий это не осознает. Тем самым учение Витгенштейна о наличии каких-то альтернативных критериев «точности», кроме логических и математических, вполне может вызвать критику. Например, крайне сомнительно утверждение Витгенштейна: «Когда мы создаем “идеальные языки”, то это делается не для того, чтобы заменить наш собственный язык этим искусственным языком, но лишь для того, чтобы устранить некоторые затруднения, возникающие в сознании тех, кто полагает, что он достиг точного употребления обычного слова»⁵². Логические аналитики, в отличие от Витгенштейна, считали, что во многих случаях употребления специальных языков следует *заменить* обыденный язык, а не только устранять его «затруднения». На наш взгляд, они правы, так как огромное множество слов обыденного языка («клетка», «мост», «река» и др.) *совершенно* меняют свое значение в языке соответствующей науки; и это никак не похоже на «уточнение», за которое ратует Витгенштейн. Отказавшись от логических критериев точности, уточнения и анализа, Витгенштейн впадает в лингвистический релятивизм, отдавая эти понятия «на откуп» отдельным частным языкам и нашим потреб-

⁵² Витгенштейн Л. Голубая книга. С. 51.

ностям, для реализации которых мы можем выбрать не только язык логиков, но и языки грузчиков, крестьян или туристов.

Витгенштейн считает, что логические аналитики ошибаются, стремясь как можно точнее определить *значение* слова. На самом деле это не только понятие, релятивное по отношению к каждой языковой игре. Существуют случаи, когда *значение отсутствует совсем*, если понимать под значением «соотнесение с предметом». Приводя примеры таких языковых случаев, Витгенштейн пишет: «Воды! Прочь! Ой! На помощь! Прекрасно! Нет! Неужели ты все еще склонен называть эти слова “наименованиями” предметов?»⁵³. Витгенштейна тут вдохновляет сказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», где существуют слова, лишённые всякого значения в повседневном английском языке, типа «Шалтай-болтай» или «ювеливаллер». Несомненно, Витгенштейн совершает здесь выдающееся открытие в области анализа языка, убедительно доказав, что «прямое соответствие» и «объективные слова» не являются единственной основой обыденного языка, что слово «Воды!» не обязательно обозначает в этой ситуации воду как химическое соединение. Раненому, например, можно дать минеральной воды, сока или компота, если у него нестерпимая жажда, и он просит: «Воды!». Но вместе с тем можно спорить с Витгенштейном относительно его убеждения в *полном* отсутствии связи между смыслом фразы «Воды!» и реальной водой. Скорее всего, тут присутствует метафора, косвенно указывающая если не на воду, то, по крайней мере, на годную для питья жидкость. Это отметил Рассел, возражая Витгенштейну: «Вы можете воскликнуть “Огонь!”, но было бы бессмысленно воскликнуть “Чем!”»⁵⁴. Таким образом, нанеся сильный удар по критериям достоверности верификационной теории, Витгенштейн предоставил взамен крайне «размытые» критерии, навечно дав повод трактовать их в духе лингвистического релятивизма.

Характерно, что Витгенштейн, стремясь только «описывать» языковые игры, постоянно стремится найти критерии достоверности в области реальности, а не в области языка: «Должно быть *доказано*, что исключена ошибка. Ибо это всего лишь утверждение в том, что я здесь не могу ошибаться, факт же, что я не ошибаюсь в *этом*, должен устанавливаться *объективно*»⁵⁵. Для Витгенштейна недостаточно сказать: «Я не ошибаюсь», необходимо доказать

⁵³ Витгенштейн Л. Философские работы. С. 91.

⁵⁴ Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. С. 24.

⁵⁵ Витгенштейн Л. О достоверности. 15 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

это. В критической литературе о Витгенштейне распространено мнение, что Витгенштейн отвергал связи между языком и действительностью, что критерии «уверенности» лежат «внутри» языковой игры. Между тем это относится, скорее, к последователям философа. Сам Витгенштейн опроверг бы это мнение. Например, он пишет: «Убедившись в отсутствии ошибок, человек говорит: да, расчет правилен — но извлек это заключение не из своего состояния уверенности. О положении дел умозаключают не из своей собственной уверенности. Уверенность — это *как бы* тон, в котором повествуют, как обстоят дела, но из тона нельзя сделать вывод, что сообщение оправданно»⁵⁶. Сказать нечто для Витгенштейна можно правильно или неправильно. Критерии правильности и неправильности могут подкрепляться «уверенностью» (например, можно что-то «авторитетно заявить»), но уверенность не влияет на то, как «обстоят дела». Даже сторонник последовательного лингвистического релятивизма Р. Рорти отмечает попытку поиска Витгенштейном внеязыковых критериев достоверности в области действительности.

Характерную черту языковой игры составляет то, что мы в нее «верим», т. е. верим «целой системе предложений». Витгенштейн полагает, что для этой веры, в отличие от знания, *нет* никакого обоснования, что это «необоснованная» вера. Мы верим нашей языковой игре по двум причинам: «дела обстоят так» и «все люди так говорят». «Вера», по Витгенштейну, лежит в основе целостности языка и мира, в которой убежден каждый человек. С этой точки зрения, к примеру, разум способен сомневаться в каждом отдельном факте, но не во *всех фактах, вместе взятых*. Тезис Витгенштейна о наличии «веры», несомненно, противоречит собственному же положению философа о наличии объективных критериев уверенности. Рорти верно отмечает черту философии Витгенштейна: «Представлять язык как картину мира — как множество репрезентаций, которые нужны философии, чтобы изобразить их в некотором неинтенциональном отношении к тому, что они репрезентируют, — бесполезно для объяснения того, как понимается и осваивается язык»⁵⁷. В свете оценки Рорти, языковая картина мира оказывается исключительно вербальным дискурсом. Конечно, Витгенштейн не придерживался столь радикального взгляда, но он, несомненно, сделал уступки идеализму и дал повод для подобных интерпретаций. Отказавшись от идей теории соответствия, определяющих логический анализ,

⁵⁶ Там же. 30.

⁵⁷ Рорти Р. Философия и Зеркало Природы. Новосибирск, 1997. С. 218.

Витгенштейн так и не пришел к выработке *альтернативного* обоснования связи языка и мира. «Соответствие положению дел» и «необоснованная вера» в равной мере определяют эпистемологию позднего Витгенштейна, делая ее дуалистической. Витгенштейн, на наш взгляд, осознавал этот дуализм. В нем он видит причины ненависти между людьми, одиночества человека, «ибо если человек чувствует себя потерянным, то это и есть настоящая беда»⁵⁸. Он не видит ничего, кроме пропасти между языками наций, классов, партий, школ. Как свидетельствует его близкий друг Г. фон Вригт, Витгенштейн видел будущее познания мрачным, всерьез полагая, что человек никогда не сможет выразить себя и понять других.

Тем не менее Витгенштейн не всегда был таким пессимистом. Как уже отмечалось выше, человек способен понимать другую языковую игру через обучение ее правилам и значениям слов: «Так что, если другому человеку известна эта языковая игра, то он признает, что я это знаю. Если этот другой владеет данной игрой, то он должен быть в состоянии представить себе, *как человек может знать нечто подобное*»⁵⁹. Анализируя предложения обыденного языка, Витгенштейн критикует Мура за попытку свети понимание овладения языком к анализу чувственных данных. Это неверно, так как существует, к примеру, язык шпионов или шифровальщиков, который умышленно искажает все чувственно воспринимаемые корреляты, но которому тем не менее можно научиться. Для обучения языковой игре, по Витгенштейну, достаточно знать только то, как ею пользоваться. Языковые игры тем самым трактуются как «инструменты», а не как «шаблоны», снятые с реальности.

Для доказательства того, что правила языка не всегда *указывают* на реальность, Витгенштейн приводит один пример, особенно интересный для носителей русского языка. Он отмечает в «Философских исследованиях», что в русском языке (который Витгенштейн немного знал) вместо «Камень есть красный» (как в английском языке) говорят «Камень красный». Это, кстати, создает трудности для преподавателей грамматики и логики. Витгенштейн отмечает факт *иного* правила связывания субъекта и предиката в высказываниях на русском языке, чем, например, в немецком языке. Для Витгенштейна «подразумевание» гла-

⁵⁸ Витгенштейн Л. Культура и ценность. [261] // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

⁵⁹ Витгенштейн Л. О достоверности. 18 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

гола-связки «есть», выражающееся в русском языке обычным пробелом или знаком « — », не является тем же самым, что английское слово «is» или немецкое слово «ist». Тем самым, по Витгенштейну, русские не указывают на реальность в каждом отдельном высказывании, а только *подразумевают* это, что не одно и то же. Подобные идеи Витгенштейна активно развивали Райл, Остин, Куайн и другие теоретики обыденного языка.

Любое подтверждение или опровержение происходит «внутри» некоторой языковой системы. Спрашивая «Правда, что Земля круглая?», мы неизбежно относим этот вопрос к определенной языковой игре, в данном случае, к языку астрономии. На основании этого Витгенштейн выводит положение, которое активно использует при анализе истинности высказываний обыденного языка: *все, что мы спрашиваем, относится к уже существующему контексту той или иной языковой игры*. По Витгенштейну, мы не можем *просто* спросить (или даже подумать), — любой вопрос должен быть задан на языке той или иной игры. Поэтому нельзя правильно спросить о форме Земли, сказав: «Правда, что ель растет в лесу?» или «?! *№Арт?!?» (любая абракадабра). В какой-то степени прав Э. Геллнер, критикуя Витгенштейна за отказ от универсальной теории познания, на языке которой мы задаем *все* осмысленные вопросы: «Лингвистическая философия не имеет теории познания; она довольствуется лишь теорией, объясняющей, почему теория познания является излишней и невозможной»⁶⁰. Он полагает, что, если мы воплотим в жизнь принцип Витгенштейна «спрашивать только на языке определенной игры», то теория познания сведется к «темным афоризмам», толкующим, наподобие волхвов, различные языки.

Поскольку не существует единых критериев истинности для всех языков, то Витгенштейн предлагает отказаться от категории «истина», заменив ее категорией «*достоверность*». Достоверность — это не только то, в чем человек уверен (человек может быть уверен, что существуют кентавры), а, скорее, то, в чем человек *не может быть не уверен*, когда ошибка может быть совершенно исключена. Витгенштейн решительно выступает против утверждения единой методологии верификации, нивелирующей индивидуальные особенности отдельных языковых игр. Для Витгенштейна это — преступление против языка, омертвление речи, как способности не только обозначать и высказывать фактические суждения, но и как способности *понимать* друг друга, быть уверенным вместе с другими. Как и Хайдеггер, Витгенштейн

⁶⁰ Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962. С. 158.

отстаивает достоинство обыденного языка перед натиском языка логики, полагая, что рационально созданный идеальный язык приведет к искусственному миру и, в конце концов, к потере смысла. Еще в 1914 г. Витгенштейн считал, что язык логики «глух» к подлинному смыслу мира, что «высказывать» не означает «говорить»: «Так называемые логические предложения *показывают* логические свойства языка и, следовательно, универсума, но не *говорят* ничего»⁶¹.

Лидер американского прагматизма У. Джеймс считал, что термин употребляется в том виде, как он введен в теорию. При этом единственным критерием введения термина выступает его полезность, практическое удобство. Поскольку возможны различные понятия для обозначения одного объекта (например, «Большая медведица» и «Ковш» для обозначения одного созвездия), то нельзя положительно решить вопрос об истинности одного из обозначений. Какое из них рассматривать как *более* истинное, вполне зависит от употребления. Налицо очевидные параллели между пониманием истины в прагматизме и лингвистической философии. Однако Витгенштейн не считает «практическое удобство» исключительным *критерием* истины. Говоря «Слова — это разные инструменты в нашем языке»⁶², Витгенштейн не имеет в виду, что это инструменты, избранные сознанием как наилучшие с практической точки зрения. Скорее, Витгенштейн хочет сказать: у нас уже есть инструменты, необходимо *научиться ими правильно пользоваться*.

Если человек говорит «Это нога», высказывание может восприниматься не более как возглас. Витгенштейн пытается доказать, что на самом деле — это выражение несомненной уверенности, на основании которой действует человек. Допустим, люди измеряют поле шагами. При этом, по Витгенштейну, им бесполезно доказывать преимущества рулетки, поскольку они убеждены в том, что их метод наилучший. Диоген однажды стал указывать на предметы средним пальцем, и его все стали называть глупцом. Люди настолько привыкли указывать на предметы определенным пальцем, что использование другого пальца для подобной цели порождает у окружающих сомнение в психическом здоровье человека, поступающего так. Почему, по Витгенштейну, возможны подобные ситуации? Н. Мальколм записал на одной его лекции: «В их жизни (жизни людей. — С. Н.) не существует представления о более точном измерении, и поэтому отсутствует

⁶¹ Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916. Томск, 1998. С. 133.

⁶² Витгенштейн Л. Голубая книга. С. 117.

представление о том, что такое *настоящая длина*. Если мы скажем: «Они должны иметь понятие о настоящей длине», то только потому, что имеют в виду более сложно организованную систему жизни, где одному способу измерения оказывается предпочтение по сравнению с другими. Но это все не имеет никакого отношения к жизни этого племени»⁶³. Так, люди измеряют длину в километрах, милях, верстах и т. п. — при этом невозможно выбрать *лучшую* систему. Мир выбрал километры, потому что это удобно. Когда англичане упорно меряют все в ярдах и милях, это вовсе не означает того, что они *не правы*.

Британский моралист С. Батлер сказал: все есть то, что есть, и ничто иное. Он хотел показать, что возможен только мир, созданный Богом. В принципе, Витгенштейн вполне согласен с Батлером. Он пишет: «Но ведь тогда нельзя описать, как мы убеждаемся в надежности того или иного вычисления? Почему же! Вот только никакое правило тут не обнаруживается. — Но самое главное вот что: правило и не нужно. Все при нас»⁶⁴. Что же — «при нас»? При нас прежде всего непоколебимая уверенность в основных правилах нашего языка. Витгенштейн считает, что здесь мы ничего и не могли бы изменить. Человек подчиняется *власти* языка над ним, язык *диктует* человеку критерии достоверности, *заставляет* его чувствовать себя убежденным. По Витгенштейну, человек «околдован» словом и способен «непроизвольно» верить ему; для этого необходимо быть «вовлеченным» в языковую игру.

«Непоколебимая уверенность» возникает не без причины. Витгенштейн стремится доказать, что в ходе анализа обыденного языка обнаруживаются ситуации, в которых *невозможно сомнение*, ситуации, в которых невозможно представить, почему кто-то должен полагать иное. В качестве бессмысленного вопроса Витгенштейн приводит следующий: «Почему для меня невозможно усомниться в том, что я никогда не был на Луне?». Он дает на него следующий ответ: «Прежде всего, предположение о том, что я, возможно, там побывал, мне кажется *праздным*. Из него ничего не следовало бы, ничего не было бы им объяснимо»⁶⁵. «Праздные» вопросы хотя и возможны логически, практически бессмысленны; они не могут быть включены в языковую игру, например, для обозначения мест, где обычно бывают люди.

⁶³ Малькольм Н. Людвиг Витгенштейн: воспоминания. М., 1986. С. 52.

⁶⁴ Витгенштейн Л. О достоверности. 46 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

⁶⁵ Там же. 117.

Но вполне возможно, что группа любителей историй о бароне Мюнхгаузене может видеть смысл в высказывании «Я был на Луне» и считать, что там живут люди. Для Витгенштейна, эти люди, если они будут упорствовать в своих фантазиях, должны стать пациентами психиатрической лечебницы. Большинство людей непоколебимо верят, что они не были на Луне, действительно считая рассуждения на эту тему занимательными для фантастики, анекдотов и других вымышленных, а не реальных историй. Витгенштейн полагает, что язык этих людей должен быть подвергнут *терапии*, чтобы «вылечить» их болезнь и научить называть вещи правильными именами. Витгенштейн иногда нарочито демонстрирует нежелание анализировать «праздные» вопросы философов: «Мы удовлетворены тем, что Земля круглая»⁶⁶.

Раз существуют «праздные» вопросы, то существуют и *несомненные* положения. Как и Декарт, Витгенштейн приветствует сомнение, но только до тех пор, пока не будет обнаружено несомненное. Даже когда человек ошибается, можно выделить случаи, когда он ошибается вместе со *всеми* носителями этой языковой игры. Утверждая, что разумный человек не испытывает определенных сомнений, Витгенштейн доказывает интересубъективный, а не произвольный характер принятия утверждения в языковой игре. «Жизнь» языка, в отличие от бесконечно сомневающейся науки, освобождает человека от скептицизма.

На наш взгляд, Витгенштейн вывел оригинальный вопрос: обо всем ли можно спрашивать? Например, человек может открыть ящик стола и увидеть там ручку, затем, подождав немного, засомневаться, есть ли там ручка. И опять выдвигать ящик и т. д. Витгенштейн считает, что этот человек не *научился* правильному сомнению; сомнение для него — произвольный акт. Но все же, дать основания несомненного знания Витгенштейн не может, поскольку как аналитический философ хочет найти основание более глубокое, чем всеобщее мнение. Витгенштейн даже не может доказать, почему он не сомневается в том, что его зовут Людвиг Витгенштейн. У него это имя записано в паспорте, под этим именем издан «Логико-философский трактат», к нему так обращаются люди, но все это — косвенные свидетельства. Возникает парадокс:

1) Людвиг Витгенштейн говорит о Джоне, Ричарде и Сэме на основании того, как *он и окружающие* употребляют эти имена, связывая их с определенными людьми;

⁶⁶ Там же. 299.

2) Джон, Ричард и Сэм говорят о Людвиге Витгенштейне на основании того, как *они и окружающие* употребляют это имя;

3) Людвиг Витгенштейн говорит о себе на основании того, как *окружающие* его зовут и как они употребляют это имя.

Исходя из сказанного, мы говорим о другом человеке на основании собственного именованя, а о себе говорить так не можем. И хотя масса людей говорит о Витгенштейне: «Это Людвиг Витгенштейн», *сам* Витгенштейн не может убедиться, что это правильно. Слово поэтому не может именовать себя в языке, обязательно являясь определенным через другие слова. Результат парадокса составляет, таким образом, систематическая недостаточность в определенности любого имени в языке.

Эти логические проблемы не так сильно задевают обычного человека, поскольку любая языковая игра обладает способностью *«самоубеждения»*. Витгенштейн пишет: «Скажи, например, кто-нибудь: “Я не знаю, рука ли это”, — ему можно было бы ответить: “Присмотрись получше”. Такая возможность самоубеждения принадлежит языковой игре. Это одна из ее существенных черт»⁶⁷. «Убедиться» для Витгенштейна — лучшее доказательство в этой ситуации. Разум способен сомневаться, существует ли рука. Но, как уже отмечалось, такое сомнение осуществляется «не по правилам», оно не связано с практикой. Поэтому такого скептика, не научившегося правильно сомневаться, Витгенштейн предлагает не слушать, а просто «осадить».

Одной из главных черт методологии анализа обыденного языка выступает отказ от разделения на *внешние объекты* и *внутренние «картины»*, или образы объектов. Когда мы смотрим на небо и говорим: «Оно синее», мы не именуем ощущение, возникшее «внутри меня», а говорим о небе так, как если бы это сказал другой человек. Витгенштейн считает, что мы должны отбросить «анализ ощущений» как «устаревший» эпистемологический вопрос и заняться анализом языка, который используется для наименования чувственных образов. Дело не в том, адекватны ли наши ощущения или нет, а в том, как мы можем *выразить их содержание в языке*. Анализ высказываний об ощущениях, по Витгенштейну, возможен только в лингвистических, а не в психологических или физических терминах: «Мы легко создаем себе ложную картину процессов, называемых “узнаванием”; согласно этой картине узнавание якобы всегда заключается в сравнении между собой двух впечатлений. То есть я словно ношу при себе изображение предмета и с его помощью узнаю

⁶⁷ Там же. З.

в некоем предмете такой, какой изображен на этой картине»⁶⁸. На самом деле у нас нет никаких долингвистических образов или чувственных данных. Мы говорим, называем вещи и только *затем* что-то узнаем о них.

В ходе анализа обыденного языка, считает Витгенштейн, можно пренебречь различием между прямым и косвенным описанием факта, которое очень важно в логическом анализе. Например, суждение «Это рука» в философии логического анализа представляет прямую констатацию факта. Тогда как в суждении «У него болит рука» рука описывается косвенно, поскольку прямо утверждается о боли в руке. Витгенштейн нивелирует это различие, считая бессмысленным различие прямого и косвенного смысла. Во всех фразах о руке упоминается рука, и она описывается так, как принято употреблять это слово в этой языковой игре. Поэтому констатации фактов типа «Это рука» тоже зависят от употребления слова «рука» в языке и не обладают поэтому особым статусом. Очевидно, что Витгенштейн здесь не спорит с логическими аналитиками, он просто игнорирует их теории. Отмечая ошибочность верификационной теории, Витгенштейн считает недопустимым отождествление знака с объектом, сосуществующим со знаком. Достаточно знать только употребление знака; выяснение соответствия его с каким-то предметом не требуется. Например, во фразе «Его лицо имеет печальное выражение», по Витгенштейну, речь идет о метафорическом смысле глагола «иметь», поскольку «выражение» не есть нечто внешнее по отношению к лицу. Тем самым, Витгенштейн предлагает полностью отказаться от анализа чувственных данных и фактов и заняться анализом словоупотребления, хотя делает это непоследовательно. Логика и эпистемология, по Витгенштейну, должны описывать язык, а не психику и внешний мир: «К логике относится все то, что описывает ту или иную языковую игру»⁶⁹.

Мур и Витгенштейн

Как уже отмечалось выше, отношения Мура и Витгенштейна, а также их оценки в критике, сложные и неоднозначные. Выступая приверженцем последовательного реализма, Мур считает возможным совпадение чувственных данных и физических объектов. Мур основывает свое утверждение на повседневном

⁶⁸ Витгенштейн Л. Философские работы. С. 242.

⁶⁹ Витгенштейн Л. О достоверности. 56 // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994.

опыте каждого человека. Витгенштейн в этой связи отмечает, что если, например, у Мура болела бы рука, и он сказал бы: «У меня болит рука», мы бы поняли его и попытались бы ему помочь. Но если бы он сказал: «Я чувствую, что это дерево», мы не поняли бы этот абсурд. Непокколебимость уверенности Мура заключается в том, что его не интересует исследование *личного* опыта, который он считает праздным. Витгенштейна волнует то обстоятельство, что в ситуациях самоочевидных положений не только Мур, но и любой человек не может сомневаться. Если бы Мур сказал: «Я знаю, что это рука, но могу ошибаться», то, полагает Витгенштейн, Мур не смог бы выявить суть своей ошибки. «Потому можно признать, что Мур был прав, если истолковывать его в таком духе: предложение, сообщающее, что здесь есть физический объект, может иметь такой же логический статус, какой имеет предложение, сообщающее, что здесь есть красное пятно»⁷⁰. Витгенштейн верно отмечает, что Мур не пытался отказаться от признания качественной разницы между чувственным данным и физическим объектом, которую признавали большинство философов. Поэтому значение Мура в философии Витгенштейн видит в выведении и доказательстве существования случаев, в которых ни один здравомыслящий человек не может сомневаться.

Витгенштейн критикует Мура за неспособность показать, *каким образом* он приходит к уверенности в истинности суждений здравого смысла. В частности, Мур не объясняет, почему высказывания здравого смысла не могут быть ошибочными. В этой связи Витгенштейн пишет: «При определенных обстоятельствах человек не может ошибаться. <...> Выскажи Мур предположения, противоположные тем, которые он объявил несомненными, мы не только не разделили бы его мнения, но и приняли бы его за душевнобольного»⁷¹. Мур высказывает не просто самоочевидные положения; он высказывает прежде всего достоверные положения, т. е. те, в которых *никто* не может сомневаться. Когда Мур говорит: «Я знаю это», нас интересует не то, что Мур знает, а то, почему собеседники Мура верят в это. Отдавая должное критике Витгенштейна, отметим, что он вольно трактует Мура в очень важном вопросе. Витгенштейн ошибочно приписывает Муру положение о тождестве понятий «знать» и «быть уверенным», которого придерживается сам. Еще в «Опровержении идеализма» в 1903 г. Мур, критикуя солипсизм Беркли, четко разграничил

⁷⁰ Там же. 53.

⁷¹ Там же. 155.

эти два понятия и с тех пор нигде их не отождествлял. В этой связи критику Витгенштейна можно считать изложением своей позиции, а не строгим анализом подлинных взглядов Мура. Как Сократ у позднего Платона, Мур превращается для Витгенштейна в литературный персонаж, а не только в философа. По Муру, мы действительно *знаем* о многих людях и материальных объектах, что и подтверждается здравым смыслом. По Витгенштейну, мы ничего *не знаем* за пределами языковых конвенций, даже если убеждены, что знаем это. «Даже если наидостойнейший доверия уверяет меня, будто он *знает*, что дело обстоит так-то, то тем самым он еще не может убедить меня в том, что действительно знает это. Разве только в том, что он уверен, что знает. Поэтому нас не интересует уверенность Мура, что он знает»⁷². Что же тогда должно нас интересовать? По Витгенштейну, нас прежде всего интересует структура обыденного языка, где все положения здравого смысла тесно связаны в единую «систему координат». Язык закрепляет не отдельные положения опыта; он учит нас доверять опыту в целом. Фразой «Я знаю...» мы *вообще не описываем факты*. Мы выражаем уверенность в том, что мы усвоили, овладевая правилами и конвенциями языка. Критерии нашей уверенности, таким образом, релятивны по отношению к той или иной языковой игре. Сказать «Мур неверно описывает кошек» равносильно высказыванию «Мур неверно употребляет слова “кошка”, “мяукать”, “царапаться” и т. д.».

Витгенштейн считает путь Мура и Рассела утопическим: они, уже *обладая* знанием, ищут для него «оснований». В результате они не могут прийти к чему-либо иному, нежели к рассудочным положениям логики. «Последняя» достоверность, по Витгенштейну, ускользает от них, поскольку они *не там* ее ищут. Корень дружбы-вражды Мура и Витгенштейна, закончившейся их глубоким идейным расхождением, заключается, на наш взгляд, в принятии Витгенштейном *идеалистического* положения о тождестве знания и уверенности. «Что, если в предложении Мура “Я знаю” заменить (курсив мой. — С. Н.) на “Я непоколебимо убежден”?»⁷³, — предполагает Витгенштейн. Естественно, Мур не мог согласиться с подобным отождествлением. Не соглашается Мур и с положением Витгенштейна о том, что предложения можно считать истинными, если никто из носителей языка не может доказать их ложность. Мур не придерживался того, что американский логик С. Крипке назвал «избыточной теорией

⁷² Там же. 137.

⁷³ Там же. 86.

истины», согласно которой необходимо не только верифицировать утверждение, но и доказать, что его отрицание ошибочно.

Как уже отмечалось, Витгенштейн считает, что здравый смысл Мура, на самом деле, релятивен по отношению к языковой игре. Это означает: если я и все носители моего языка в чем-то не сомневаются, то это не распространяется на носителей другого языка, скажем, на японцев. Хайдеггер выводит в статье «Разговор на проселочной дороге между японцем и спрашивающим» диалог по поводу «ики». Это понятие, по Хайдеггеру, совершенно отсутствует не только в немецком языке, но и во всей западной мысли. Витгенштейн вполне согласился с Хайдеггером. Он выводит три случая, в которых здравый смысл Мура, а вместе с ним и вся философия логического анализа попадают в неразрешимые затруднения.

1. *Мур и дикари*. «Я мог бы представить себе такой случай: Мур захвачен племенем дикарей, и они высказывают подозрение, что он прибыл из какого-то места, расположенного между Землей и Луной. Мур говорит им, что он знает нечто, но оснований для своей уверенности привести не может, поскольку у них фантастические представления о способности людей летать и они ничего не смыслят в физике»⁷⁴, — пишет Витгенштейн. Он считает, что у дикарей существует свое употребление таких слов, как «белый человек» и «летать», несовместимые с употреблением в английском языке. Дикари могут даже съесть Мура, и все из-за лингвистической несовместимости. Так, по Витгенштейну, огромное большинство людей скорее поверит в чертей, сглазы и астрологические прогнозы, чем во многие мнения ученых.

2. *Мур и король*. Этот случай имеет психологическую направленность. Допустим, существует король, который так уверен в своем могуществе, что считает себя способным одним повелением вызвать дождь. Мур, конечно, так не считает, смотря на дождь, как на объективное климатическое явление. Так что, и в этой ситуации Мур рискует быть казненным за инакомыслие, за то, что осмелился перечить живому богу. Мур, конечно, может переубедить короля, но это не затронет его веры в целом. Так, Платон убедил Дионисия учредить идеальное государство, но от этого Дионисий не перестал быть тираном.

3. *Мур и католик*. Мур присутствует в католическом соборе при совершении таинства евхаристии. Правоверный католик убежден, что во время таинства вино — уже не вино, а кровь Христа. Мур же, как человек светский, может признать: «Да, это

⁷⁴ Там же. 264.

вино, которое во время таинства символизирует кровь, но остается вином». И здесь Мур со своим здравым смыслом не угодил бы католикам. В Средние века он вполне мог бы быть сожжен на костре за еретическое учение. И так, при столкновении теологического языка католика и научного языка Мура не остается победителей; каждый будет считать друг друга глупцом и еретиком.

Опровергая Мура, Витгенштейн доказывает, что только в контексте определенного языка можно определить критерии достоверности и ошибки. В этом нам может помочь *анализ обыденного языка* — метод, впервые предложенный Витгенштейном. Парадоксально, но автор этого метода, терзаемый постоянным столкновением двух своих философий, оставил этот метод только в виде наметок. Последователи Витгенштейна — лингвистические философы — занялись детальной разработкой именно *техники* анализа обыденного языка, в большинстве своем просто отвергнув свое «логическое» прошлое. Для них все проблемы анализа связаны практически исключительно с обыденным языком и способами употребления слов и предложений. При этом они открыли много новых направлений и положений, которые значительно разнятся с идеями учителя. И хотя эти философы называли себя «витгенштейнианцами», никто из них, собственно, не пошел по пути Витгенштейна. Смотря на лингвистическую философию с определенной временной дистанции, мы не будем выяснять, почему все крупные лингвистические философы столь мало следуют Витгенштейну и используют его категориальный аппарат. Может быть, это и к лучшему, поскольку Витгенштейна проще всего представить генератором новых идей и харизматическим лидером и труднее всего — создателем «большой» системы и руководителем философской школы.

